

«ТУТ-ТО И СОН»

«Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас, Сон».

Сны проходят настоящим лейтмотивом в черновых заметках Достоевского: «План. После сна»; «Сон»; «Начало. Сон», «Тут-то и Сон»; «Сон»; «№. Сон»; «Раскольников. Сон» и т. д., не меньше раз пятнадцати. О чем — непопятно. Но вдруг встречаются слова, разом освещающие всю глубину проблемы: «Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас. Сон».

Стало быть, сон для Достоевского — не какой-то эффектный прием предсказания события, заранее известного писателю, или условное изображение уже прошедшего события. Нет, сон у него — незаменимый способ художественного познания, основанный на

законах самой человеческой природы. Через сон он тоже проникает во «все глубины души человеческой». Через сон он тоже ищет «в человеке человека». В снах у него и «невывказанное, будущее Слово». Сон тоже входит в понятие «полного реализма», реализма «в высшем смысле». Это не уход от действительности, а стремление постигнуть ее в ее собственных своеобразных формах, осмысленных художественно. И при этом у Достоевского здесь нет мистики, как нет ее в снах у Шекспира или у Пушкина. Достоевский и здесь развивает одну из самых животворных *реалистических* традиций мировой и русской литературы. — Но, пожалуй, ни у кого из прежних писателей сны не были столь мощным орудием художественного познания человека и мира, как у Достоевского.

Согласно общей художественно-философской, художественно-психологической концепции Достоевского, из человека цельного, непосредственного, то есть общинного, родового, человек становится разорванным и частичным. Однако внутренняя, врожденная потребность в цельности живет в нем неистребимо, как живот и естественно-социальная потребность его в «слитии» с родом¹. Разорванность есть болезнь, социальная болезнь, — общая причина преступлений. Л преступление — не что иное как покушение на жизнь, на судьбу рода, — потому-то оно и противоестественно. Если высший идеал для Достоевского — это «слитие» каждого человека с другими людьми, с родом, то совесть и есть неотсроченный идеал, земная реализация его. Убить совесть и значит убить идеал, и наоборот. Поэтому то не может быть преступления «по совести», преступления «во имя идеала», а есть преступление только *против* совести, *против* идеала.

Здесь мысли Достоевского удивительно сходны с мыслями Гегеля, который определял совесть как «миральную гениальность», то есть как естественнейшее свойство каждого нормального человека, то есть именно как неотсроченный, осуществляемый сегодня идеал. Совесть, по Гегелю, это — «одинокое богослужение», являющееся одновременно «богослужением общины»². И опять-таки за всей иррациональностью здесь полна

пропустить самое главное, — объективное, глубоко социальное содержание этих мыслей: совесть как суд человеческого рода над человеком, суд, происходящий внутри самого человека. И у Достоевского и у Гегеля исходный пункт — один и тот же: *община*, то есть вполне конкретная историческая данность, а не какой-то сверхъестественный феномен. И у Достоевского и у Гегеля утрата реального родового единства человечества, утрата цельности человека возмещается понятием — бог¹.

А теперь вернемся к снам в понимании Достоевского. «Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски мелочной отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремится не рассудок, а желание, не голова, а сердце... перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься на точках, о которых грезит сердце» («Сон смешного человека»). Здесь-то и выявляется особенно, что «рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни...» («Записки из подполья»).

Человеческая натура проявляется наяву обычно лишь частично, а во время катастроф и в снах, сопровождающих и предвещающих такие катастрофы, проявляется в целом. Тут уже не один «ум», но и «сердце», тут вся натура в целом. В снах истинные мотивы деятельности человека обнажаются и теснее соотносятся с судьбой человеческого рода (обычно — через судьбу самых близких ему людей). Самообманное сознание, успокаивающее совесть человека наяву, по сне разоблачается. В кошмаре снов и срываются иге и всякие самообманные маски. *Самообманных снов у Достоевского не бывает*. Сны у него — художественное уничтожение всякой неопределенности в мотивах преступления. Это наяву «ум» может сколько угодно развивать теорию «арифметики», теорию преступления «по совести», может сколько угодно заниматься пере-

¹ См.: «Литературное наследство», т. 83, с. 247—248.

² Гегель. Соч., т. 4. М., 1959, с. 351—352.

¹ Ср.: «...религия есть самосознание и самочувствование человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 414).

именованием вещей, — зато во сне все выходит наружу, хотя и в кошмарном виде.

Сны у Достоевского — это обнаженная совесть, не заговоренная никакими «успокоительными, славными словечками».

Художник выявляет ответственность человека не только за преступные результаты его действий, но только за преступные средства, но и за преступность скрытых *помыслов*. Человек ответствен, убежден Достоевский, даже за свои неосознанные желания.

Знал ли я о страшных последствиях своего сговора с Ламбертом? — спрашивает себя Подросток. И отвечает: «Нет, не знал». Но тут же добавляет: «Это правда, но так ли вполне? Нет, не так: я уже ко-что, несомненно, знал, даже слишком много, но как? Пусть читатель вспомнит про сон! Если уж мог быть такой сон, если уж мог он вырваться из моего сердца и так формулироваться, то, значит, я страшно много не знал, а предчувствовал... Знания не было, но сердце билось от предчувствий, и злые духи уже овладели моими снами». (Речь идет о сне, в котором Подросток вместе с Ламбертом шантажирует Ахмакову.) Сон этот предвещает явь: «Это значит, что все уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании моем лежало, но сердце еще стыдилось им-яву и ум не смел еще представить что-нибудь подобное сознательно. А во сне душа сама представила и выложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной картине и — в пророческой форме». Раскольников тоже «страшно много — не знал, а предчувствовал». И человек, убежден Достоевский, ответствен даже за такие предчувствия, за то, что дал им волю, испугался превратить их в прямое знание¹.

«Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас. Сон». Не этот ли закон природы, и кричит в детском сне Раскольникова как ран накануне преступления? Не этот ли сон (хотя и на время) пробуждает в Раскольникове человека? У Свидригай-

¹ При этом *предчувствие* злодеяния, писал Достоевский как раз о пророческом сне Подростка, оказывается чрезвычайно притягательным, тогда как *прямое знание* его смысла и последствий отталкивает человека: «№3. Это драгоценное пси-Мифическое замечание и новое сведение о природе человеческой» («Литературное наследство», т. 77, с. 107).

лова таких снов уже нет. Перечитайте те несколько страниц, где описываются его последние часы перед самоубийством, в грязной каморке какой-то гостиницы. Ему видятся три сна, один кошмарнее другого. Но вот еще что замечательно: «вход» в эти сны и «выход» из них почти стерт, и трудно, подчас невозможно (третий сон), определить, когда Свидригайлов забывается, а когда — приходит в себя. Так и должно быть, потому что грань бытия и небытия для него давно уже стерта. Эта грань — как колеблющееся пламя свечи, которую Свидригайлов то зажигает, то гасит, и непонятно, когда он в самом деле ее зажигает и гасит, а когда это ему лишь мерещится...

Сны-кошмары у Достоевского — не зеркальное повторение происходящего наяву, не простой дубликат действительности. Это всегда чудовищная аберрация, но всегда — отражение действительности в кривом и увеличивающем зеркале.

Многие сны в классической литературе, не будь им предпослано специальное авторское объяснение, что это именно сны, — в сущности ничем не отличаются от яви, они именно зеркально дублируют явь. Такие сны вполне могли бы быть заменены простым воспоминанием или ретроспективной картиной действительности. Такие сны — условно-рассудочный прием и с художественной и с психологической точки зрения. Сны же у Достоевского *незаменимы ничем* (кошмар Ивана Карамазова с чертом — тот же сон). Это — страшный трагический гротеск, позволяющий глубже понять реальность.

«Али есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас...» *Объективность законов нравственности* — есть она или нет? есть эти законы или их нет? — вот над какой проблемой заставляет задуматься Достоевский. И здесь, быть может, как ни в чем другом, искусство его сближается с наукой. Ведь что такое объективность законов? Это не только *независимость их* от человека, это еще — и *зависимость человека* от них. Объективность законов в том и состоит, что если не считаться с ними, то они, так или иначе, прямо или косвенно, рано или поздно, покарают нарушителя, отомстят за себя, заставят признать себя, хотя бы через катастрофу.

Известно, что Достоевский неистово протестовал против подчинения живого человека мертвым законам, против превращения человека в «штифтик», в «фортепианную клавишу». Порой даже кажется, что само слово «закон» — едва ли не самое ненавистное для него слово. Но прочитайте *всего* Достоевского — и вы убедитесь в том, что слово «закон» является для него едва ли и не самым излюбленным словом. Сравните его в этом отношении с другими художниками — и убедитесь, что, паверное, ни у кого из них так часто оно не встречается, чаще, пожалуй, чем это принято обычно даже в научных трудах. Достоевский страстно пытался проникнуть в законы «живой жизни», понять эту жизнь из нее самой. И если сделать подборку его высказываний на этот счет, то нельзя не заметить: он все время говорит о *разных* законах, «положительных» и «отрицательных», о законах «сохранения» и «разрушения», то считая их равноправными, то протестуя против законов «разрушения» и объявляя единственно «нормальными» лишь законы «сохранения». И вот, можно сказать, итоговая его формула: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», — читаем в «Идиоте».

Достоевский превосходно знал, что ни от каких проповедей глупцы не становятся умнее, а подлецы — честнее, — знал и повторял это с отчаянием, даже с ожесточением. И он прибегнул тоже к отчаянному, последнему, решающему доводу: *иначе погибнете!* К этому доводу он прибегнул — вопреки своим собственным уверениям, будто «добродетель» мало чего стоит, если она основана на выборе — «будьте братьями ила смерть», если она признается «во имя спасения животишек»... Но ведь этот довод и выражает жизненную, спасительную потребность объективного познания социально-правственных отношений людей, потребность овладения законами природы самих этих отношений, Об этом и «кричат» все сны Достоевского.